

CANIERE PERIODIQUES
(5 cahier: Septembre-Octobre 1949).

ВОЗРОЖДЕНИЕ

*Литературно-политическія
тетради*

под редакціей

С. П. М Е Л Ъ Г У Н О В А

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ - 1949 ГОДА.

ПАРИЖ

Editions « LA RENAISSANCE ».

75, av. des Champs-Élysées, Paris (VIII).

Tél.: Ely 06-03.

ПРО СТАРОЕ, ПРО БЫВАЛОЕ

Каждый раз как мнѣ попадаетъ в руки «Литературная Газета», или, что бываетъ гораздо чаще, цитата из нея, я испытываю острую жалость к писателям, которые печатаются в странах, подвластных совѣтам. Конечно, не к таким, как покойный Алексѣй Толстой или тѣлом еще живой, но духом давно мертвецъ, Илья Эренбург. Этих жалѣть нечего. Они искали матерьяльнаго успѣха и его получили полнозвучной монетой. Исканья иные таким, как они, не по плечу. Но есть там другіе, есть тѣ братья писатели, о которых Пушкин говорилъ с усмѣшкой, но все же от них не отрывался, чувствовалъ свою органическую с ними связь. Подлинное писательство есть не только профессія, ремесло, но и потребность, безпокойство души, стремящейся выразиться в словѣ. И как горько думать о тѣх, кто там, в Россіи, чувствует в себѣ эту таинственную, томящую жажду передать себя, свои знанія, мысли, чувства другимъ людям, а сдѣлать этого не можетъ и вынужден молчать, или, что еще хуже, отбрасывать самое цѣнное, притворяться, штыаясь хоть намсками связать себя с читателем. Или, наконецъ, что страшнѣе всего, вынужден писать совсѣм не то, что на умѣ, а то, что прикажутъ. Чѣм крупнѣе, чѣм даровитѣе писатель, тѣм больнѣе, тѣм страшнѣе это отвратительное издѣвательство над самимъ собой, котораго требуетъ, незнающій пощады, коммунистическій строй. Признаюсь, у меня не хватаетъ мужества осуждать совѣтскихъ писателей, бросить в нихъ первый камень. И не только потому, что, живя в свободныхъ странах, мы, если умѣемъ заставить себя слушать, можемъ свободно высказаться, но еще и потому, что мы, русскіе писатели дореволюціонной Россіи, никогда не знали униженія и стыда принудительнаго писанія. Были такіе, что продавали себя, но это была добровольная сдѣлка продажныхъ душъ. Старая власть часто мѣшала намъ высказаться, но заставить насъ писать не то, что мы думали никто не могъ, да никто и не стремился.

По отношенію к прессѣ и литературѣ у власти можетъ быть три дѣйствія — позволять, запрещать и предписывать. Такъ вот мы, при старом, самодержавномъ режимѣ, знали только два первые глагола. И сейчасъ говорю только о самодержавномъ режимѣ, какимъ онъ былъ в концѣ XIX и в началѣ XX вѣка, такъ какъ с Думой начался несравненно болѣе либеральный періодъ.

Начиная с конца царствованія Екатерины и до открытія Го-

сударственной Думы, цензура не мало почила кроушки у русских писателей и не мнѣ, русской либеральной писательницѣ, ее защищать. Но и нападать на нее я сейчас не хочу. Об этом и без меня исписаны томы, гдѣ собрано много анекдотов, иногда забавных, иногда возмутительных и мрачных. Но любопытно, что книги эти печатались при старом режимѣ, которому цензура служила. Почтенный С. А. Венгеров, свои лекціи в Петербургском Университетѣ о русской литературѣ, в значительной степени посвящал не исторіи поэзіи, а исторіи цензуры. Что служит для грознаго этого учрежденія смягчающим обстоятельством. Попробуйте сейчас прочесть в Москвѣ или Петербургѣ такой курс...!?

Со старой цензурой можно было спорить, можно было торговаться, иногда выдиранивать от нея возстановленіе страниц, показавшихся ей опасными и можно было найти разные способы высказывать печатно мысли, правительству совѣм неугодиныя. Появившіеся в началѣ девяностых годов в Петербургѣ марксисты, издавали свой журнал, напечатали «Капитал» К. Маркса, шумно и успѣшно выступали в Вольно-экономическом обществѣ. Когда правительство опохватилось и попробовало приглушить эту новую разновидность воинствующаго социализма, дѣятельность марксистов продолжалось. Туган-Барановскій, один из самых систематических излагателей теоріи Маркса, не только печатал статьи и книги, но и получил кафедру в Петербургском университетѣ. Ленин, живя за границей, печатал в Москвѣ и Петербургѣ свои статьи. Но когда большевики захватили власть, они заглушили всѣ неугодные им голоса. Ни при Ленинѣ, ни при его наследниках не могло и не может выйти из типографіи ничего, в чем есть, хотя бы слабый луч самостоятельной оппозиціонной мысли.

Я совершенно увѣрена, что в Совѣтской Россіи никому в голову не придет, что в Россіи прежней — ее теперь зовут, и, быть может, это названіе слѣдует закрѣпить, — в Россіи царской, такія книги, как «Очерки Русской Культуры» П. Н. Милюкова, писались в тюрьмѣ. Всѣ его писанья, как и его дѣятельность, были проникнуты отрицаніем того строя, под властью котораго Милюков тогда жил. К нему по праву можно было примѣнить термин — враг существующаго строя. Но все же его женѣ, как и всѣм женам, давали два раза в недѣлю свиданія, но позволяли ей приносить ему книги и выписки, которыя ему были нужны для его работы.

Теперь, когда оглядываешься назад, то с изумленіем чувствуешь, что в поведеніи царскаго правительства было несомнѣнное уваженіе к слову, к праву думать. Но оно не находило себѣ выраженія в законодательствѣ, а, главное, не отвѣчало тѣм политическим формулам и лозунгам, на которых нѣсколько поколѣній интеллигенціи было вскормлено. Вообще власть и интеллигенція не умѣли, не хотѣли понимать друг друга и для Россіи это оказалось бѣдствіем.

Но даже теперь, при свѣтѣ страшнаго опыта послѣдняго,

страшнаго тридцатилѣтія, далеко не всѣ думающіе русскіе люди, признают, что в старой Россіи, которую мы тогда упорно величали — страной насилія, безправія и беззаконія, — с человѣком обращались осторожнѣе, чѣм обращаются теперь и не только коммунисты в Совѣтском Союзѣ, но иногда и в демократіях.

Амфиотаров за свою статью об Обмановых, гдѣ он грубо и несправедливо высмѣивал царствующую семью Романовых, поплатился недолгой, совсѣм не суровой, ссылкой. Если бы кто нибудь сейчас осмѣлился так заговорить, даже шопотом о семьѣ Сталина, что сдѣлали бы с ним, с его семьей, с его знакомыми и сосѣдями?

В той же «Литературной Газетѣ» бывають отчеты о писательских собраніях. Сводятся они к тому, что какой нибудь здосчастливый писатель, чаще всего с именем, исполняя порученіе Совѣтскаго Правительства, читает очередной разнос, полный угроз, изобличающій уклонь и буржуазныя прослойки в произведеніях своих коллег. Другіе, еще болѣе несчастные писатели в отвѣтъ на это каются, сознаются в своих грѣхах, клянутся выровнять линию, подвергаются всяким униженіям. И опять напрашивается у меня сравненіе с нами, с нашими литературными ужинами в Петербургѣ. Эти писательскія собранія происходили в скромной кухмистерской, на углу Николаевской и Кузнечнаго, и совсѣм не по приказу правительства, которое очень косо смотрѣло на эту затѣю. Мы это знали. Нас тѣшило, что правительство точно нас побаивается. Это было, насколько помню, в 1902-3 г.г. Во всяком случаѣ, при Плеве, когда слово конституція считалось преступным. Мы его вслух и не произносили, но рѣчи нашего безсмѣннаго предсѣдателя, привѣтливаго, остроумнаго Н. Ф. Анненскаго и наше отвѣтное краснорѣчіе были полны намеков на конституцію, на политическую свободу, на все, к чему мы стремились.

Наблюдатель, сколько нибудь извѣстный, мог бы примѣнить к нам слова Пушкина — забавы взрослых шалунов, но и эти ужины вливались в общій поток, были одвой из разнообразностей, широко развернувшейся оппозиціонной работы с ея страстным, здоровым стремленіем к политической свободѣ. Они сплачивали единомышленников, сближали писателей, давали выход еще неиспытанным политическим потребностям. Раз в мѣсяц садились мы за эту общую, скромную трапезу, съѣдали не особенно вкусную рыбу, носившую таинственное имя — лабардан, — и, запивая ее дешевым вином, полные взаимнаго довѣрія, приучались думать вмѣстѣ. Смѣясь, старались мы угадать, который из почтенных лакеев прислан сюда от Охранки, чтобы пересказать там наши опасные разговоры. Но ни этого сыщика, ни его хозяев мы не боялись.

В нас вообще не было страха, который, как темная крылья бѣсовскія, расползается всюду, куда пропикла власть коммунистов. Они, вопреки своей философіи материализма, больше всего боятся слова, мысли, ДУХА, поэтому с особенной злобой вгоня-

ют страх в души писателей. Пыткой страха за себя и близких заставляют их отрекаться от своих сочинений, от своих мечтаний и мыслей.

Много лет тому назад мнѣ пришлось в Берлинѣ встрѣтиться с Пильняком. Должно быть это было время Напа, т. к. ему позволяли съѣздить за границу. Он при мнѣ распинался за советскую власть, твердил, что я ничего не понимаю, не умѣю цѣнить новый, пролетарскій строй. И вот пришло время возвращаться. Пильняк, совершенно внѣ себя, прибѣжал к тому писателю, у котораго я его встрѣчала. Само собой разумѣется, что ко мнѣ он никогда бы не посмѣл явиться, знал, что это ему зачтется в тяжкій грѣх. Я видѣла, что он волнуется. Спросила:

— Вы должны быть довольны, что из буржуазной Европы возвращается в социалистическій рай.

Сказала и самой неловко стало, точно пальцем ткнула в открытую рану. Он свирѣпо посмотрѣл на меня:

— Вы шутите, а мнѣ не до шуток. За мной все время слѣжка. Навѣрное, записали все, что я дѣлал, кого видѣл. Изволь распутываться...

На его лицѣ был неподдѣльный ужас, который он не мог, да и не видѣл нужды скрывать. Вѣдь всѣ знают, что за всякую оплошность советы ставят к стѣнкѣ, гноят в тюрьмах, истязают в лагерях. Это настолько обыденные факты, что чего же тут притворяться, храбриться. Как нельзя не бояться огня, землетрясенія, чумы, диких звѣрей, так нельзя не бояться комиссаров и Чеки.

Ничего подобнаго этому непреодолимому страху, которым мучился Пильняк, мы писатели царской Россіи не знали. Конечно, могли быть исключенія, но я говорю об общем настроеніи и именно о писателях, не о революціонерах, хотя и для них можно подобрать любопытныя параллели. Пильняк ничего запретнаго в Россію не вез, но он трясся от страха, что его в чем то заподозрят, у него в мозгу отыщут запретныя мысли.

Мнѣ невольно вспомнилось, как, приблизительно лет двадцать перед тѣм, когда на русской границѣ путешественников встрѣчали не агенты, Чека а царскіе жандармы, из Штутгарта, гдѣ П. Б. Струве издавал «Освобожденіе», отправляли в Россію, одного из самых щедрых участников тайнаго Союза Освобожденія, Д. Е. Жуковского. Ему поручили перевезти в Россію большой альбом с видами, в переплет котораго вклеили пачку номеров «Освобожденія». Жуковскій был очень хорошій, привлекательный человек, из тѣх идеалистов, у которых слово не расходится с дѣлом. Большую часть своих, довольно обширных средств, он тратил на издательство, с котораго прибыль вряд ли получал. Он и в кассу «Освобожденія» вносил щедрые взносы, и в Петербургѣ издавал журнал «Вопросы Жизни». От конспиративнаго порученія он пытался отбиться, откровенно говорил:

— Я не люблю таких приключеній. Я не люблю жандармов. Найдите другого.

Но ему все таки вручили нафаршированный запретной литературой альбом и на пограничной станціи его с ним арестовали. Жуковский потом говорил, что ему совсѣм не понравилось в кузукѣ. Но самое удивительное было то, что его продержали три дня, отпустили домой в Петербург. И потом не преслѣдовали, хотя пойман он был с политичным и литературу вез антиправительственную.

Правда, к этому времени вся полицейская система начала пошатываться под напором военных неудач и общественнаго движенія. Но вѣдь и двигаться то можно было только потому, что правительственная машина это допускала.

Все так складывалось, что мы не знали страха. Миѣ пришлось испытать два ареста. Это непріятное чувство, когда за вами захлопываются двери тюрьмы, но, входя в нее, я страха не испытывала. Просто в голову не приходило бояться. Так же, как не могла я бояться, в прямом смыслѣ слова бояться, своих цензоров. Я совершенно увѣрена, что современные писатели в Россіи разворачивают с ужасом очередной номер «Литературной Газеты». А вдруг попали на черный лист? У царскаго правительства такой казенной газеты для литераторов не было и быть не могло, а были цензора. Часто пренепріятные, но отнюдь не страшные в том прямом смыслѣ этого слова, как оно примѣняется ко всѣм приѣмам совѣтскаго правительства.

Лично я встрѣчалась только два раза с цензорами. Первый раз я, вмѣстѣ с маленькой группой писателей, рѣшила подать прошеніе о правѣ издавать ежемѣсячный журнал. При этом мы придумали дерзкую штуку. — просить заодно о разрѣшеніи на ежедневную газету, как приложение к журналу.

Цензор принял меня очень вѣжливо, выслушал внимательно, потом посмотрѣл на меня насмѣшливо и сказал:

— Значит, сударыня, вы просите о том, чтобы вам разрѣшили построить собачью будку, а при ней каменный дом?

— То есть, как?

— Да очень просто. Толстый журнал — собачья будка. Газета при нем — каменный дом... Вряд ли вам это разрѣшат.

Сравненіе было не очень то лестное, но высмѣять меня он имѣл право, т. к. и я, не хуже, чѣм он, знала, что ни журнала, ни газеты, миѣ не разрѣшат. А вот пошла чтобы и его, и себя подразнить.

Нѣсколько лѣтъ спустя, в Ярославлѣ, гдѣ я была членом редакціи газеты «Сѣверный Край», вице-губернатор, который был моим цензором, вычеркнул мою статью. Редактор на нее рассчитывал. Полушутя, он сказал миѣ:

— Надоѣло миѣ это цирканье. Поѣзжайте к вице-губернатору, поторгуйтесь с ним. Может быть, вам удастся выцарапать от него вашу статью...

Всѣ приняли это за шутку, а я рѣшила попытать счастья:

— Хорошо. Давайте перечеркнутую корректуру. Сейчас поѣду.

Съѣла на извозчика, — ах, как иногда хочется, чтобы и теперь были извозчики, — отправилась. Принял меня вице-губернатор не в канцеляріи, а у себя на квартирѣ. Принял с пылкой и вѣжливостью. Это меня не удивило. Чиновничій міръ я знала и к их вѣжливости привыкла. Но меня удивило, что он передо мной слегка терялся, точно конфузился, что обстоятельства заставили его запретить мою статью. В нем было что то почти виноватое. И хотя статью мою он все таки утробил, я вышла от него с сознаньем, что, несмотря на красный карандаш, они понимают, что без живого слова, т. е. без писателей, нѣтъ живого человѣческаго общества.

Это пониманье не существует в совѣтской республикѣ. Там писателя или покупают, со всѣми потрохами, или сжигают со свѣта.

Эти несчастные не знают того простора, той вольности, среди которой, вопреки стѣснительным законам о печати, мы жили и писали. Старые, самодержавные законы не добивались, как говорит апостол, до раздѣленья души от тѣла. Они, порой, запечатывали уста, но не убивали душу, чему свидѣтельство вся наша дореволюціонная литература. Всѣ мы, большіе и малые русскіе писатели, могли с понятной гордостью носить это званіе. Даже в тюрьмѣ мы чувствовали себя свободнѣе, чѣм совѣтскіе писатели на совѣтской свободѣ. Оттого они не знают таких красочных, радостных праздников, как то, чему я была свидѣтельницей в Ялтѣ, в 1900 году. Думая о судьбѣ русской литературы, русскаго искусства, я вспоминаю об этом, как о доказательствѣ того высокаго положенія, которое тогда у нас занимали писатели и артисты, как просторно, раздвигалась перед ними жизнь.

В ту весну Крым был ими полон. Нельзя было пройти по набережной, не встрѣтив какую нибудь знаменитость. Любопытные нарочно съѣзжались в Крым, чтобы на них взглянуть. С сѣвера пріѣзжали редактора журналов, охотившіеся за рукописями популярных беллетристов. Особенно ловким ловцом был Миролубов, редактор дешеваго «Журнала для всѣх». Высокій, костлявый, глаза шильцем, он весь расцвѣтал, когда мог пройти по набережной с Чеховым или Максимом Горьким. Грубоватыя, семинарскія манеры Миролубова, от котораго писателям, еще не пробившимся, приходилось плохо, сразу смягчались, когда надо было разговаривать с литературными генералами. По его лицу можно было угадать, выпросил он у одного из них рассказ или нѣтъ.

Уже надвигался общій политическій и экономическій подъѣм, который оборвался с революціей 1917 г. Росла грамотность, росли издательства, рос спрос на писателей, в особенности на беллетристов. То, что они могли проводить весну в Крыму, показывало, что рукописи стали ходким товаром. Любопытство, с которым толпа разглядывала литераторов, будило в них сознаніе своей профессиональной значительности, своего мѣста в жизни.

А. П. Чехов был постоянным жителем Ялты с ялтинцы им

гордились. Не было в Ялѣ человека популярнѣе Антон Павлыча. За ним бѣгала цѣлая стая женщин, молодых и старых, которые его не мало изводили. Их так и прозвали антоновки. Он их поклоненья не очень то поощрял. Несторопливый, замкнутый, сдержанно-привѣтливый, с мягкими движеніями и глуховатым голосом, он иногда появлялся на набережной. Вокруг него шумѣли, мчались, толкались, смѣялись громко, чтобы привлечь к себѣ вниманье, приподымались на цыпочки, чтобы казаться выше ростом, а он шел своей дорогой, двигался, смотрѣлъ, говорил иначе, чѣм другіе, проходил через толпу с подкупающей простотой.

В ту весну Ялта была похожа на средневѣковую Флоренцію, вся дышала искусством, красотой, творчеством. В этом кокетливом городкѣ, полном цвѣтуших фруктовых деревьев, обрамленном с одной стороны синим морем, с другой горами, на вершинах которых еще бѣлѣлъ снѣг, писатели, артисты, художники, поэты чувствовали себя хозяевами. За ними с сѣвера потянулись друзья и поклонники. Провинціалы вылѣзли из своих пыльных углов, чтобы тоже вдохнуть в себя воздух, которым дышат художественные верхи. В тот год всегда людный весенній сѣзд вышел особенно ярким, живописным, потому что Станиславскій привез из Москвы в гости к Чехову свой театр. У Чехова была чахотка в тяжелой степени. Каждая поѣздка на сѣвер обостряла процесс. Врачи не отпускали его в Москву, гдѣ в ту зиму был поставлен «Вишневый сад». Тогда Станиславскій сдѣлал царственный жест и привез на поклон и на показ любимому писателю весь свой театр.

Театр Станиславскаго укрѣпил славу Чехова, а Чехов помог Художникам создать и укрѣпить их славу. В исторіи театра вряд ли найдется другой примѣръ такого полного взаимнаго пониманья и дружескаго сотрудничества между драматургом директором театра и артистами, какое установилось между Чеховым и Художественным Театром. Не случайно их имена связаны, не случайно на артистическом знамени Станиславскаго трепещет бѣлая Чеховская чайка...

Пьесы Чехова, пока их не начали ставить Художники, преваливались. А театр Станиславскаго развернулся по настоящему только тогда, когда они стали ставить пьесы Чехова. Между этими двумя художниками была созвучность, общность ритма. На Чеховских полутонах Станиславскій разыгрывал тѣ гаммы настроеній, тѣ психологическія пастели, которые так захватывали русских зрителей, перевернули сначала русскій театр, позже отразились на театральном искусствѣ всего міра, революціонировали его.

В ту раннюю крымскую весну, когда вся Ялта струилась, пестрѣла этой подвижной актерской толпой, веселые московскіе актеры о Европах еще не думали. Слава Художников еще и в России была не прочно установлена. Вокруг них кипѣли споры. Одни бурно ими восторгались, другіе сердились, подсмѣивались. Вѣдь

и Чехова при жизни еще не подняли на тот высокий пьедестал, на который его поставили послѣ смерти. Его читали, им зачитывались, но только немногіе предчувствовали в нем классика, к которому будут снова и снова возвращаться читатели русскіе и не русскіе. Критики толстых журналов все еще писали о нем свысока, наставляли его, укоряли за безындейность. Славу создавала ему читательская масса, через головы критики.

Но в кружкѣ Станиславскаго его уже носили на руках. Распочительный прїѣзд труппы в Крым показал до чего они преданы Антон Павловичу. Это было больше, чѣм почитаніе. Это была влюбленность. Это было институтское обожаніе. В труппѣ Станиславскаго вообще было что то институтское. У них была рѣдкая в театральном мірѣ сплоченность. И какая тѣ птичья привычка жаться друг к другу, держаться стаей, но птичьим щебетать... Разговаривали они междометьями, восторгались, ахали, но иначе, чѣм это дѣлается в обычной актерской компаніи.

Они и хотѣли быть иначе, не походить на привычное представление об актерах, разыгрывали простачков. Женщины наивничали, складывали губки сердечком. Конечно, тѣ, что были попроще, а не двѣ львицы, не Андреева и Книппер. Даже при посторонних артисты переговаривались только им понятными словечками. Почему то перебрасывались телефонными номерами, как шифрами:

— 577... Хи-Хи-Хи...

— Ха-Ха-Ха... 324...

— Неужели. Вот не ожидал... 888...

Выходило пошкотьнически. Непосвященные чувствовали себя дураками, актеры и актрисы многозначительно переглядывались и были довольны. Это почти все была молодежь. Они тѣшились тѣм, что переносили игру со сцены в жизнь, да еще в декоративной обстановкѣ сіяющей, сверкающей красками южной природы.

В центрѣ зрѣлища были Чехов и Станиславскій, два человека менѣе всего склонные что нибудь из себя разыгрывать. Они были неразлучны. К ним все стягивалось. Вокруг них на набережной, в городском саду, в театрѣ непрерывно разыгрывалась пьеса с длинным названіем:

— Антон Павлыч, мы вас обожаем...

Все это продѣлывалось по дѣтски, радостно, празднично. И от души. Люди были счастливы, что могут кѣм то бездумно, безкорыстно восхищаться. Особенно было любопытно наблюдать эти массовыя чувства в городском саду. Садишко был плохенькій, пыльный, с жалкими чахоточными деревьями. Но липовыя гроздья глициній покрывали бѣлыя стѣны. Солнце ярко горѣло на них, на пестрых женских платьях. Красочные дамскіе зонтики, как огромныя тропическія цвѣты, колыхались над хорошенькими женскими головками. Завтракали и обѣдали под открытым небом. Чехов всегда сидѣлъ за одним столом со Станиславским и Немирович-Данченко. С ними неизмѣнно были Книппер и Андрее-

ва. Иногда Качалов или Вишневскій. Их стол был центром не только театральнаго мірка, но всей ялтинской жизни, если не всего побережья. Их группа заставляла сердца биться скорѣе, веселѣе. От них шло особое излученіе. Кругом них располагались актеры и писатели, к ним поворачивались остальные. Поклонники и просто любопытные на перебой старались захватить столики поближе, безцеремонно разглядывали своих любимцев, слѣдили за их жестами, улыбками, прислушивались к их интонаціям, когда могли, ловили их слова.

Актеры и актрисы привыкли жить на показ. Им это нравилось. Только Станиславскій морщился. В нем не было ничего похожего на баловня сцены. Он был скуп на слова, застенчиво горд. Этим походил на ехова. Их сдержанность отбѣняла кипѣвшую вокруг веселую экспансивность.

Посторонним зрителям хорошо было в этой толпѣ больших и малых талантов, молодых, жизнерадостных, упивавшихся югом, солнцем, запахом моря, сознаніем того, что они в гостях у своего любимца Антон Павлыча и не менѣе опьяняющим сознаніем, что они участвуют в большом художественном парадѣ, творят не в одиночку, а общими товарищескими усиліями, под волшебным руководством Станиславскаго, перед которым преклонялись, котораго обожали, не менѣе, чѣм Чехова. И в этом творчествѣ участвует хор незнакомых, совсѣм чужих людей, которые тоже, как античный хор, вкладывают себя в общій порыв.

Эти чувства рѣяли в воздухѣ, разливались, озаряли даже самых сѣреньких обывателей непривычным энтузіазмом, придавали прїѣзду Художников значеніе, переливавшееся из театра в жизнь. Их аура отбрасывала отблески, придавала плоской курортной жизни одухотворенное очарованіе. И сколько было кругом красивых женщин. Онѣ усиливали живописность этих дней. На первом мѣстѣ была Андреева. Меня ея красота поразила. Лермонтов говорил, что красота лица опредѣляется формой носа. У Андреевой был чудесный нос, с тонкими, точными поздрями. В ней все было красиво. Когда она улыбалась, уголки ея рта подымались, лукаво, заманчиво. И глаза смѣялись, продолговатые, свѣтло-каріе, влажные. Кожа у нея была такая, что даже под безпощадным солнцем юга она не боялась показываться без румян и бѣлиз. Не мудрено, что по ней сходили с ума, что, завидѣвъ издали ее развѣвающимся бѣлое платье, ея высокую, гибкую фигуру, молодые поэты обрывали любой разговор и бѣжали, как сумасшедшіе, за ней, чтобы пожать ея тонкіе пальцы, заглянуть в ея искристые глаза. Ея прогулки по набережной были триумфальными шествіями. Кажется, с этой весны началась многослѣтная дружба Горькаго с красавицей актрисой, главный талант которой заключался в красотѣ.

Горькій миѣ казался на рѣдкость непривлекательным. Роста он был высокаго, но сутулился, широкія плечи валились вперед на впалую грудь. Это его старило. Лицо точно топором вырубленное

и хмурая улыбка не сглаживала его грубости. Небольшие, глубоко за-
прятанные глаза смотрѣли недовѣрчиво, непривѣтливо. Мнѣ го-
ворили, что он может быть очень интересным собесѣдником.
Обычно он отвѣчал только короткими междометіями. Но я встрѣ-
чала его только мельком и это мои бѣглыя впечатлѣнія.

Другая писательско-актерская пара, за которой наблюдала
вся Ялта, то же казалась мнѣ странно подобранной, не ритмич-
ной, но уже не по внѣшним, по внутренним диссонансам. Это был
Антон Чехов и Ольга Книппер, его будущая жена. Красивой она
не была. Черты лица неопредѣленные, без рисунка. Ея нос, на-
вѣрное, не удовлетворил бы Лермонтова. Но очень много было в
ней женственности. В движеніях ея полного тѣла была вкрадчи-
вая, кошачья гибкость, которая меня за Чехова пугала. Книппер
мягко охаживала его, перебирала лапками, рассчитывая прыжок.
И рассчитала.

Сидя за моим далеким столиком в городском саду, я наблю-
дала эту игру, как слѣдишь из ложи за развитіем пьесы. Поста-
новка была на рѣдкость увлекательная. Столик, за которым сидѣ-
ли главныя дѣйствующія лица, находился в самом центрѣ сада,
точно сам Станиславскій отмѣтил, гдѣ его поставить. На самом
дѣлѣ, уходя из театра, он переставал представлять. Артистом он
был всегда. Таким родился. Но для него игра, лицедѣйство кон-
чалось с выходом из театра. Он, вѣроятно предпочел бы завтра-
кать с друзьями гдѣ нибудь внѣ толпы, в домашней обстановкѣ.
Но жизнь не оставляла его в покоѣ, громоздила вокруг него под-
мости. А публика считала себя в правѣ разглядывать его и его
спутницъ, точно это тоже был спектакль, перенесенный из душевной
залы под синее, смѣющееся небо юга.

Было что то сходное в улыбках Чехова и Станиславскаго.
Та же тихая иронія, та же мягкость. Обмѣнившись такими улыбка-
ми, они точно без слов передавали друг другу свое пониманье
жизни и людей, смѣшных, слабых, вздорных, а все таки близких,
часто милых. Рядом с ними угрюмо ухмылялось костистое лицо
Горькаго, заразительно смѣялась, показывая чудесныя зубы, кра-
савица Андреева, Книппер, мягко наклонив голову к круглому
плечу, заглядывала сбоку в лицо Чехову, ворковала, ворожила.
В его отвѣтной улыбкѣ даже посторонніе видѣли покорную нѣж-
ность.

А вечером все слѣшили в театр смотрѣть на тѣх же людей
в их творческом перевоплощеніи. Одни смотрѣли и безропотно
подчинялись искусству писателя и актера, испытывали бездум-
ное наслажденіе. Другіе спорили анализировали, отбивались, но
все, и покоренные, и бунтующіе, равно были окутаны таинствен-
ным излученіем, исходящим от таланта. Для всех этих весенніе
дни в яркой Ялтѣ, и для артистов, и для увлеченных ими зрите-
лей, были не просто курортным зрѣлищем, а неожиданно раз-
вернувшимся народным праздником, от котораго подымались

хмельные хорошодные вихри. На время замолкла воркотня, на которую так падки интеллигенты. Люди стали ближе, богаче, смелее, счастливее. В центр радости были Чехов и Станиславский.

Но они вызвали такой чуткий отклик, так захватили сердца, только потому, что это были сердца не изуродованные страхом, сердца людей свободных.

Ариадна Тыркова-Вильямс.